

Великий Полдень

[Вячеслав Карижинский](#)

В этом мире я сквозь слезы видел не жизнь, а лишь ее тусклое отражение.

Эзоп

I Светляки

Тонкие пальцы её худощавых рук, следуя за губами, скользили вверх и вниз. К едва уловимому аромату её духов примешивался сладковато-тошнотворный запах прелой листвы, то и дело чередуясь с назойливым петрикором. Едва моросил дождь.

На стёклах приоткрытого, слегка запотевшего окна и на потолке танцевали сине-зелёные огоньки — цветные тени, напоминавшие своими размытыми очертаниями светляков в густой и тёмной траве.

Когда я попытался приподняться, чтобы разглядеть их, она остановила меня.

- Не смотри туда. Позволь им быть, просто быть.

Будучи словно в полусне я не мог вспомнить, где я и с кем. И она снова предвосхитила мой вопрос, словно он мог разрушить наш хрупкий идиллический миг.

- Какая разница, как меня зовут. У меня сотни имён. И среди них обязательно найдутся имена тех, кого ты любил.

- Действительно, - пробормотал я, - какая разница. Что толку от имён, если я не помню их лиц, не помню, что с нами было...

- Не задавай себе вопросы. Спрашивай меня, я сегодня буду твоим оракулом.

- Почему я не имею права говорить сам с собой?

- Потому, что ответам тесно в узкой клетке твоих запретов.

- Мой самый главный запрет?

- Запрет любить.

- Да, я вспоминаю... мне было совсем немного лет. В таком возрасте ещё не знают, что такое любить. А я уже знал, что такое желать. И в этом я не мог признаться никому.

Она замедлила движения, почувствовав, резкое усиление моей эрекции.

- Почему боль? - спросил я, заранее зная ответ.

- Потому, что не было ничего, кроме боли. Ты гадал на ветру, камнях и сломанных прутьях, встретитесь ли вы вновь. Считал, сколько упавших веток в виде крестов тебе встретится на пути. Если три, значит встретитесь. И ты находил их ровно три, но встречи не было, тогда ты загадывал новое число. Гадание снова напрасно пророчило встречу.

- Сколько раз подует ветер вправо?

- Семь, точно семь раз.

- А сколько камней формой, похожей на трапецию..?

- Правильно, одиннадцать. Тогда все гадания мира, ветры и камни — весь мир предал тебя.

- Я вспоминаю... потом предала она. Когда мы снова встретились, спустя несколько месяцев. Она вернулась другой.

- И с тех пор каждое расставание было для тебя последним. Ты понял, что если кто-то уходит, то уходит навсегда.

- Мы всегда возвращаемся другими. Поэтому лучше не возвращаться...

Разноцветные светляки на потолке, казалось, ускорили свои танцы. И в них чувствовалась нарастающая тревога. Мне подумалось, что это огни полицейских машин или скорой помощи...

- Любовь, осознанная через боль и есть сострадание, - продолжила она, - то, чего в мире

почти не осталось. Не осталось потому, что боль превзошла все мыслимые пределы вместимости и терпения человеческой души. Люди стали убивать себя, чтобы больше не чувствовать. Истин стало слишком много, а та единая, что постоянно маячила перед ними, как тень, сгущающаяся на фоне безжалостного света мелких правд, стала совершенно невыносимой. Истину надо познавать холодным сердцем. И все стали искать эту истину. И ты сейчас спокоен, даже безразличен, потому, что обезболен... И сотни клеток твоего тела поутру погибнут, став расплатой за эту анестезию. Единственное, от чего она не спасает — от злости. Злости, неизбежно приходящей на место пустоты. Ведь свято место... А помнишь библейский стих: «когда умножится беззаконие, во многих оскудеет любовь...»

- Ненавижу Библию! А зачем сострадать кому-то, если в мире больше никого нет? Могут ли обезболенные машины, состоящие из белковых клеток, претендовать на наличие души, если у них не осталось даже чувств?

- Могут, - глубоко выдохнула она, - мы все ими были. Мы все рано или поздно впадаем в сон. И даже сейчас мы лишь видим сон. Сон реальной жизни. Мы все одновременно и спим, и бодрствуем, только в разной степени. И нет даже приблизительной грани между тем состоянием и этим, и нет меры осознанности. Здесь есть только один выбор — жив или мёртв — и третьего не дано.

- Что такое добро и зло? - спросил я, сам не зная зачем.

Густая прядь её длинных волос медленно и плавно опустилась ко мне на грудь.

- Ты поймёшь. Расскажи мне, как ты впервые убил...

II Das Vogel

С птенцом, выпавшим из гнезда, дети наигрались вдоволь и уже начали расходиться по домам, когда я приблизился к ним.

- Вы оставите его тут? - спросил я встревоженно.

- Обратно в гнездо его класть нельзя, - ответила какая-то шустрая девочка лет десяти, - почуяв запах человеческих рук, мать заклюёт птенца до смерти.

- Да, птицы всегда так делают, - подхватил кто-то из шумной ватаги, - оставим его тут.

Вскоре на поляне остались только мы двое: я и птенец в моих руках.

Этот полдень был для меня, наверное, самым долгим и мучительным в жизни.

Я подбегал к взрослым, спрашивал, что можно сделать в такой ситуации, но мне отвечали всё то же самое, добавляя, «да брось ты его уже». Мне было решительно непонятно, как они могли быть такими бесчувственно-брезгливыми...

И ближе к вечеру, я принял тяжелейшее решение. Недалеко от дома в канализационный люк стекал мощный поток воды. Он унесёт жизнь птенца мгновенно, почти безболезненно. Это намного лучше, чем быть загрызенным собственной стаей, мучительно долго умирать под палящим солнцем.

Казалось, я шёл к этой яме с грязной ледяной водой в каком-то трансе. Словно роковые и тёмные силы природы окружили меня невидимым хороводом и дышали холодом в спину. Тяжёлые ветви сосен расступались передо мной, словно двери в шатёр грядущего священного злодеяния.

В какой-то миг я даже почувствовал то, в чём признаваться себе очень гадко — этакое едва заметное гнусное движение души, чистое любопытство совершить преступление, перейти свой первый Рубикон и подступавшее к горлу упоение властью. Я гнал от себя это отвратительное позорное чувство. Поднеся ладони с птенцом к губам, я прошептал: «Сейчас всё закончится. Отныне всё будет хорошо». Птенец легко выпал из рук, доселе хранивших его крохотную жизнь, и мгновенно скрылся под водой. Секунд чрез пять я глубоко выдохнул и медленно пошёл назад, к дому. Минутное облегчение сменилось

неимоверной тяжестью в груди, которая не проходила много дней.

Однажды я рассказал о случившемся своим домашним, описал птенца и то место, где было гнездо. И мне ответили, как называется эта порода птиц, и добавили, что они — исключение из правила. Особи именно этой породы не загрызают птенцов, почуяв от них человеческий запах.

Годы спустя мне пришлось убить летучую мышь, пойманную кошкой среди ночи. Летунья была безнадежно покалечена, её крылья болтались на тонких жилках, беспомощно волочась по земле за её тушкой. Но в этот раз удар кухонным ножом я нанёс уверенно. И точно так же, как в случае с птенцом, минутное облегчение сменилось удушающей болью в груди. Тогда я был уже подростком и делал первые шаги в осознании жизни. Я уяснил, что в мире не существует зла и добра. Что мир состоит из несправедливости и страданий и что не только люди — все живые существа попадают в адскую мясорубку жизни. Боли и страданий в жизни так непомерно много, что только они имеют ценность.

Я возненавидел всех богов и бесился, когда мне различные адепты религиозных культов с умными лицами вещали о том, что в жизни есть нечто такое, что превышает всякой боли. Так они оправдывали Авраама, собиравшегося убить собственного сына, так они лишали всей гнусности мучительную казнь Христа — оправдывали всё, что угодно. На любое зло они находили воображаемое нечто, что превышает этого зла - псевдоцель, оправдывающую любые средства. Тогда я отказывал им вправе выдумывать своё спасение, не понимая, как они на самом деле слабы и беспомощны перед очевидностью безысходности, не видя исподнего отчаяния, тщательно запрятанного в их заученных премудростях. Так мим скрывает гримасы плача под наслоениями разноцветного грима и нарисованной улыбкой. Я не прощал им неприятие той истины о жизни, которая делает саму жизнь невозможной. Когда моя полностью парализованная бабушка умирала одиннадцать месяцев, я наблюдал, как отец ухаживал за ней. Тогда я не решился спросить, почему он не облегчит её мучения? Но годами позже я всё же спросил его, как мне поступить, если не дай бог, с ним случится нечто подобное? И он сказал, что всё равно хочет остаться в живых. Я не знаю, отдавал ли он себе отчёт в том, что говорит, или его удивила и была им неверно понята моя готовность незамедлительно задушить его... В его голосе как будто звучала обида.

Я думаю, люди просто слишком переоценивают жизнь, воспринимая, как угрозу, всякое посягательство на её догматическое априорное «благо». Но с тех пор, всякий раз я испытывал необъяснимое чувство спокойствия, когда видел в своей округе свежеставившегося. Тогда, видимо, в силу юных лет, я ещё мог воспринимать расставания, как конец истории, и начало новой...

Так, однажды теплым осенним полднем мы хоронили деда, воздух был невероятно чист, а легкий зефир, то и дело спускавшийся с кладбищенских деревьев, путаясь в волосах, как будто нежно шептал мне: «теперь всё закончилось, отныне всё будет хорошо».

III Невезение

- Что такое невезение, - спросил я.
- То, что люди вменяют тебе в вину, - ответила она, - но разве это имеет значение?
- Ничто не имеет значения.
- Я скажу тебе, кто я, но тогда уже будет поздно...
- А разве сейчас не поздно? Ведь то, что было и есть — будет всегда.
- Ты прав. Но есть лишь одна вещь, имеющая значение.
- Количество боли?
- И радости тоже. Какая разница, сколько раз люди причиняли тебе боль или радость, если

всё это становилось для тебя вечностью?

- Тогда всякая правда теряет смысл, - возразил я.

- Лишь та, которую ты ищешь вне себя. Посмотри, та, чьё имя ты не можешь вспомнить, давно лежит в земле. Впрочем, она забыла о тебе годами раньше. Но то, что случилось между вами тогда, в неведомый злополучный год, остаётся с тобой и поныне. Её образ, твой образ. Разве ты не чувствуешь облегчение от того, что воспоминания о ней постепенно тают?

- Самый сложный выбор: жить вечно или умереть однажды без остатка. Выбор, который природа нам не оставила, но мы почему-то продолжаем думать, что он у нас есть.

Расставание — маленькая смерть. И мы умираем постоянно. И жизнь наша рано или поздно становится одним лишь контуром утрат, замкнутым кругом повторений, переживанием нескончаемой смерти. Как научиться отпускать? Дать умереть тому, что должно отмереть и рождаться снова для нового?

- Ответ прост — жить. Как можно более активно. Ну вот, ты уже злишься, - с лёгким укором сказала она, - ты вспомнил, как тебе не раз говорили, что ты не жил реальной...

- Не жил и не служил, - перебил я, - но был бы рад, быть может, если бы мне объяснили, кому и зачем я принят на службу.

- В этом и есть главное невезение человека. Он должен постоянно делать то, чего не знает. Выполнять неназванную миссию. Она была бы заведомо провальной, если бы существовал изначальный, заданный извне и кем-то чётко прописанный смысл. И потому он невозможен, как невозможен Бог, превращающий ад и рай в приговор.

- Значит, только естественный отбор..?

- Где у тебя есть не только тело, но и слово... Полагаю, даже то, что намного выше нас, не знает, как это слово отзовется...

- Чем успокоиться мне? - спросил я, почувствовав вину и стыд.

- Мной. Только мной...

IV Великий полдень

Солнце остановилось в зените и не двигалось с места несколько дней. Люди ещё не знали, что наступил Великий Полдень.

Так говорил старик, покрытый золотой коростой шрамов. Его уста кровоточили золотом.

Золото лилось на землю вместе с палящими лучами Солнца, вулканы в яростном пробуждении изрыгали клочущие струи жидкого золота, и все ранее целебные родники били исключительно золотом. Всё, к чему прикасалось золото, становилось золотом, поглощающим сушу и воду, небо и твердь.

Сильные мира сего наполнили свои резервуары до краёв, золото заполнило их дома и сараи. И когда оно потопило пол континента, цари и казначеи обратили к беспощадному светилу свои напрасные молитвы, исполненные страха. Они бежали в храмы, надеясь спастись, становились на колени перед разнородными идолами и жрецами, не разбирая, кто из них кто, но жрецы на их глазах раздувались, как раздуваются разлагающиеся туши кабанов, лопались и изливали всё то же погибельное золото, а идолы, окутанные смрадом и насекомыми, беспомощно растворялись в нём.

Простые люди выбрасывали из домов свои скромные пожитки, дырявили все сосуды, но влага всё равно набиралась в них до краёв и выливалась наружу. И когда на земле не осталось ни бедных домов, ни царских дворцов, редкие люди, накрывшись рыболовными сетями и старыми парусами, защищаясь от палящего гнева света, продолжали плыть в золотом океане, волны которого становились всё выше и злее.

Так говорил старик, сдирая с себя золотую кожу...

Потом человек понял, что для того, чтобы выжить, нужно продырявить свою лодку. Чтобы выжить, нужно искренне захотеть гибели. Погибели самого себя, прежнего... Тогда «солнце его познания будет стоять у него на полдне». И только тогда закончится день, наступит неслыханная перемена, свершит своё неизбежное и непостижное правосудие меч судьбы.

Я продырявил свою лодку и стал медленно погружаться во тьму. Глубже, больнее, стремительнее — к самой полночи Тьмы. Ведь «полночь — тот же полдень». Так говорил старик, с которого сыпалось проказой золото. И только белые, как лунь, взъерошенные волосы его напоминали о ночи, ветре и ночном светиле.

Я вкушал смерть без остатка, пытаюсь постичь своё тайное предназначение за пределами смысла и слов, на пике боли, превращая в вечность тот миг, когда свет вогнал мне кинжал в глаз. Миг между невидящим целым глазом и глазом, беспомощно скатившимся вниз, окончательно не способным к зрению. Миг, когда на пике боли начинаешь видеть всё иначе... Я понял, что свобода — это жертва. А жертва — это музыка. И надо денно и ночью идти по безжизненным камням — идти и дарить им свою нищую музыку. Тогда кто-то там, неведомый мне, обретший через мою смерть свою свободу, получит шанс услышать симфонию эмпиреев. Надо стать тем, кем ты не можешь быть, разрывая вериги бытия, опережая собственное неистовство. Ганлином, флейтой из собственной кости плести в воздухе невидимый алфавит нового языка, ноты новой музыки, чтобы никогда не увидеть и не понять этих символов, чтобы в криках и воплях твоей нищей музыки кто-то иной услышал крещендо небесных арф и валторн. Ты должен стать Моисеем и не увидеть в результате землю обетованную. Ты должен стать мостом. Последним мостом, которому суждено обрушиться.

Нужно пройти по миру не единицей истины, а звенящим кимвалом, дробью. Дробью разноцветных капель дождя, пулемётной дробью, дробью чечётки. Если есть в тебе любовь, заставь свой кимвал звучать. И даже если нет в тебе любви — заставь свой кимвал петь во тьме. Тогда истина освободится от света, а благо освободится от золота, тогда... свобода освободится от смерти, как кимвал от меди, сковавшей его.

Я понял, что «буду вечно возвращаться к той же самой жизни, чтобы снова учить о вечном возвращении всех вещей, — чтобы повторять слово о великом полдне земли и человека».*

Так говорил старик, у которого не было больше имени — которому не подошло бы ни одно земное имя.

Такова судьба нашего извращённого выживания, нашего ненасытного плодородия. Вы, должно быть, слышали о нём — его называют Шаб-Ниггурат. Когда на рассвете нового дня он застынет в золоте, став идиолом минувших алчных племён, прохладный кумыс остудит пламенные губы Восхода, и Восход не отправит своих сыновей на Закат, куда ещё вчера нацеливал луки с ядовитыми стрелами. И ещё не осознанная мудрость впервые потечёт ручьями из глаз вчерашнего варвара. На Закате талая вода, первая вода по весне коснётся обвислой груди материнского бесчувствия, и очнувшись от нескончаемой грубости мать, подарит первую ласку ребёнку. А ребёнок пустит её эстафетой по всему свету, передав зверям и птицам. Ни на Восходе, ни на Закате больше не будет скотобоен, сетей и неводов, пропахших туком бессонных кухонь и вонью похлёбок для нищих телом и духом.

Последний вздох в Великий Полдень, падение последнего моста между светом и истиной, между словом и поступком, между человеком и неведомым. Благословим наше грядущее Небытие, ибо не это ли благая весть? Евангелие иного, жертва для Нового...

Последний сон в Великий Полдень, когда по чёрному небу проплывут восковые лики минувших империй. Что ты хочешь увидеть на полотне из облаков? Что ты хочешь услышать? Пение пастушки, выгуливающей гусей на фламандских лугах? «Чистый, как

детство, немецкий мотив?». Теперь неважно. Будет ли это византийский гимн или струны финикийского авлоса. Ведь и Финикия, и Византия - это всё та же Германия, старая довоенная Германия. Всё слилось в одно, и всё стало единым.

Wir lieben die Stürme,
Die brausenden Wogen,
Der eiskalten Winde
Rauhes Gesicht.
Wir sind schon der Meere
So viele gezogen
Und dennoch sank
Unsre Fahne nicht.* *

Так говорил измождённый временем и пространством златоуст; несчастный старик, чьи слова, едва срываясь с обессиленных губ, обращались в земной прах.

V Дети

За день до того, как лечь в хоспис, я с утра запасся бутылкой вина и присел на скамейке городского парка. Утро было необычайно холодным. Я сидел там до самого вечера, делая редкие глотки. Приятное и бесцельное созерцание проходящих мимо людей, проезжающих машин, картин оживающего города и всех, наводнявших его мелочей - всё казалось таким родным и таким чуждым одновременно. Тихая радость созерцания, разве что, омрачалась чувством стыда за мой внешний вид. Грязный, с растрёпанными волосами, я то и дело запрокидывал голову назад и смотрел, как самолёты оставляют в небе бледные следы инверсии. «Вот и твои волосы, небушко, тронула седина» - думалось мне. И это вызывало улыбку. К вечеру я совсем захмелел и, казалось, молился о чуде, не имея ни малейшего понятия, какого именно чуда я ждал, и почему обращал свои бессловесные молитвы стенам чужих домов, радостным парам, проходящим поодаль... Весь мир не замечал меня, отчётливо проводя между нами непреодолимую грань. К вечеру мимо моей скамейки прошла группа молодых людей. И только один, подозрительно окинув меня суровым взглядом, отбился от товарищей и приблизился. - Чё тут сидишь, старый? - его руки нервно крутили недопитую бутылку пива, - на девок пялишься? - Я прощаюсь... - процедил я как-то жалко-неуверенно. - Дома нет? Родных? Я отрицательно качнул головой.

* «Так говорил Заратустра» Фридрих Ницше

** Мы любим бури, // Бушующие волны, // Ледяных ветров // Суровое лицо.// Мы уже многие// Моря проплыли, // И всё-таки не опустилось// Наше знамя. // (немецкая народная песня).

- Бес в ребро, значит... - и когда он одним глотком допил содержимое бутылки, я всё понял.

- Ты мне годишься в сыновья, а может, и во внуки, - также бесхребетно промямлил я.

- Да мне по хер. Но на девок ты больше пялиться не будешь.

В следующее мгновение он занёс бутылку над собой и обрушил её со всей силы на мою голову.

Затем, наградив меня плевком сверху, он испуганно огляделся вокруг и, убедившись, что никто его не заметил, бросился догонять свою прежнюю компанию.

Вскоре хлынул дождь и город, погружаясь в сумрак, разноцветно отражался в лужах, напоминая картины постимпрессионистов, где главенствовал красный цвет... И так удивительно созвучной пейзажу была музыка Сати, доносившаяся из приоткрытой двери ресторана на другой стороне улицы.

VI До скончания времён...

Я входил в неё снова и снова. Она смеялась, запрокинув голову назад и черты её, залитые полуночным светом фонарей были так молоды и дьявольски соблазнительны. Мы испытывали оргазм за оргазмом, но сила, казалось, не покидала меня, а удваивалась с каждым новым соитием. Дождь за окнами превратился в ливень.

- Кто же ты? - спрашивал я — назови своё имя, ведь теперь уже точно слишком поздно...

- Только не смотри на мир за окнами, - стонала она, - смотри только на меня.

- Я вижу... я вижу это... Я знаю, кто я. С меня сыплется золотая короста и только волосы, белые, как лунь...

- Я твоя жизнь, - последовал внезапный ответ, - я сука, скулящая у дверей твоего дома. У дверей, которые всегда заперты. Я шалава, выброшенная тобой в ночь давным-давно. Я живу только ночью, я скитаюсь бесконечно по твоей пустынной ночи. Возьми меня ещё грубее, ещё злее!

Я выполнил её пожелание и резкость моих движений стала такой, что казалось, я вот-вот разорву её лоно.

- Я — твоя душа. Та, кого ты всё время искал, но ни в ком не видел, - с трудом продолжала она, и слова её то и дело прерывались криками боли, - та, кого ты убивал в себе снова и снова. Меня нет вне тебя. Но вот же — я есть. Я всегда была без тебя!

- Значит и ты, тварь, ненастоящая! Значит и ты — лишь одно из моих отражений! - кричал я, свирепея. Я хочу уничтожить тебя и поиметь весь мир!

Пляска сине-зелёных светляков за окном стала походить на ритуальный танец диких племён, свет их разрастался и прореживал ночной сумрак. Продолжая сладострастную пытку, я увидел, как из её глаз потекли два блестящих ручья.

- Наконец, - она назвала моё имя в уменьшительно-ласкательной форме, - ты обрёл целостность с собой. Наконец, ты стал собой. И мне так повезло... узнать свой смысл, своё предназначение до смерти. Я так соскучилась по тебе. Бери меня сильнее и злее. Еби меня до скончания времён!

Очередная волна оргазма будто лишила меня чувств. Глаза налились густым туманом, тело перестало чувствовать окружающие предметы, а звуки едва пробивались к мозгу, словно сквозь густую вату в ушах.

- Этот бомж? Весь мокрый.
- Похоже, отмучился, старый хер...

Я не знал, была ли она по-прежнему рядом, только светляки сине-зелёных огней — огни полицейских машин или скорой помощи — были уже совсем близко, обступили меня со всех сторон. Но очертания их, как и прежде, оставались размытыми. Я закрыл глаза, почувствовав, как легкий зефир спускается с полночных небес и гладит мои редкие седые волосы...

10.04.2021